

АНДРЕЙ АНТИПИН



ПЛАКАЛИ ЧАЙКИ

ПОВЕСТЬ

I

На светлый праздник Победы старуха с утра загомозилась в город, поглядывая в окно, за которым сумрачно чернел двор.

Иван Матвеевич выперся в кухню в одних подштанниках и, сидя подле русской печки, пробивал от гари мундштук из алюминиевой трубки. Причашаясь, приводя себя в боевую готовность, тайно от него пересчитывая деньги с обеих пенсий, старуха жевала мятную резинку, чтоб не облеваться в автобусе, и чем свет лаялась с ним:

— Уж с утра полез за курятиной! Всю как ешь избу продымил своей табачиной!

Спросенок сухо было во рту, как в сеностав в лугу, Иван Матвеевич долго вёл шершавым языком по клочку газетки. Но самокрутка не ладилась, распозалась. Руки ходили ходором, плясали на губах пальцы, которыми он щемил кончик ножки, а волосы торчали кверху. Он мягко приглаживал их, но они всё одно дыбились, хоть и осталось их против прежнего — двумя горстями в доброй драке порвать.

— Которого числа будешь?

— А тебе какого лешего надо?! — буркнула старуха, воняя на всю избу духами, которые Катеринка дарила ей сёгоды на именины. — Я, может, глядеть на тебя не могу!

АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикуется с 2004 г. в районной печати и в журнале "Сибирь" (с 2006 г.). Живет в поселке Казарки Усть-Кутского района.

— Думал баню стопить тебе...

Стоя перед зеркалом, старуха красила, овално выперев, бледный дряблый рот, похожий на куриную гузку... И была она вся справная, с крупным задом, и столько в ней ещё было деятельности, что его, верно, соплей могла перебить. В субботу помякала в лохани своё бельё и вывесила в бане на верёвке, так он раз-два поддал на каменку, мало-мало постегал кости веником, да убежал в дом, изматерил Таисию...

ТЬФУ! Курить хочется.

— Купи в городе ленинградскую “Приму”, — миролюбиво заговорил Иван Матвеевич, но старуха и ухом не повела.

...Всегда об эту пору Таисия тикала к дочке, два-три дня кантовалась на казённых квартирах и возводила на него напраслину. После праздника птахой Божьей залетала в избу синеглазая Катеринка:

— Папа, как можно? Ты вить пожалой человек, участник войны, а... Не знаю, папа! Извини меня, но я просто не могу уместить этого в голове...

Разбитый похмельем, весь прошлый день пожёгший в боях с “вражиной”, один за другим оставив к вечеру все рубежи, Иван Матвеевич лежал без жизни на шконке. Он не рад был белому свету, косился на пиджак с медалями, скинутый Таисией с гвоздка, да воротил от Катеринки глаза: “папой”, как в детстве, звала его доча, винилась перед ним, подтыкала одеяло, подушки.

Старуха тут же вертелась, не упускала своего торжества.

— Ты ишо не знаешь, чё он тот раз утворил! Вот ты бы узнала, ты бы ни папкала его тут, не сидела бы перед ём, как перед ампирактором! Я знаю, да я молчу, а то бы, знаешь...

— А что? Что, мама?

— “Штё мя-мя”?! Ведь срамотина последняя, до чего довёл дело в нашей семье: водку от него, паразита, прячу, где попало! В муку зароешь — он в муке найдёт, под грязные тряпки положишь — он своим поганым носом всё раскопает, в поленницу сунешь — до одного полешка разберёт, а добьётся своего! Не-де-лю просила отчерпать яму — залилась вода в яму, все соленья захлестнула! — нет, как об стенку горох! “Где, грит, я те шланги возьму, чтоб качать? Прохудился, грит, насос, шланги от мороза полопались!” — Морща белый, книзу в наковаленку разросшийся нос, в котором, как в картошке выковыранные глазки, зияли две маленькие норки, натурально изображала его старуха, став посреди спаленки и размахивая руками. — А как чухнул, что я туда на капроновой жилке бутылку спустила, дак на карачки стал, ладошкой отчерпал, достал проклятую...

Гадость! Присбирывала старуха: “ладошкой отчерпал” — ковшиком, ведёрком извёл воду в подвале. Он, главно, всё собирался откидать от подвальной стенки снег, но захворал некстати, белые метлики полетели пред глазами, думал, кончится. Лежал как пропащий, а там прижарило солнце, выело гряды в том месте, куда валили из печки золу, и зажурчала вода... Но разве объяснишь Таисии, что загурхалась она малость в этой жизни, в борении с ним, сбила прицел и лупила куда ни попадя, а больше по своим?

Гремели медали — старуха, как шелудивого пьяницу за шкуру, поддевала за тесёмку униженный пиджак, потрясала им в воздухе, будто телом повешенного.

— Ишь, как испоганил свою кольчугу, где-то уж мазуту собрал на рукав, чурка! Ему, как доброму, каждую пятилетку не за хрен собачий отваливают по медали — уж скоро места на грудях не будет от них! — а он бегат по угору, хвастат, трясёт железом!

— Положь, сучка, не тобой дадено! — со страшным ором вскидывался Иван Матвеевич, суча ногами одеяло и не умея освободиться, и мутные глаза его просекали красные кровяные линии. — Ах, чтоб ты!

— Во, видал, как скинулся, паралитик-то наш! — отступая к двери, норвила завить старуха, но жёлтые глаза с чёрными жгучими перцами посредке сидели на сухом. — Щас ишо драться кинется, а ты — па-па...

Нет, от венца не было меж них понимания и уж, видно, до гроба не найдут одного слова на двоих, будут таскать его каждый в свою сторону, как пилу-двухручку, к чёрту изведут совместную жизнь.

— Эх, папа, папа! Я вить не думала про тебя, а ты вона как...

Настыдив, наплакав полон платок, набрав от него зарокон не пить, не сеять повсюду свет, а пенсию отводить в пользу мира, то есть в руки старухе, — с вечерним автобусом, состирнув его тряпьё (старуха гнушалась), уезжала Катеринка. И с её отъездом вовсе пропадал в нём интерес к белому свету, малая тучка застила окно, и только тянуло курить, да старуха не давала денег на сигареты, а взятые на почте под пенсию он быстро жёг.

Старуха долго не казала носа, шорохалась под окнами да надоедала соседям. В сумерках подступами брала избу: сперва тёрлась на крыльце, потом протирала сухой ветошью окошки в сенцах, а уж затем, будто бы взбить тесто, перешагивала порог одной ногой, но, держась за дверную скобку, другой перенести не решалась, таила дыхание: живой, мёртвый ли он лежит за переборкой? — готовая в любой миг ломануть за участковым...

— Не стыдно тебе? — нюхом чуя присутствие старухи, которая, как на шиле, ёрзала в кухне на лавке, тихо спрашивал Иван Матвеевич, отнимая руку от влажных глаз.

— Чего?

— Врать-то, на живого человека нести сверху и снизу?

— От! Где я вру?! Всю как ешь правду выложила, да не кому-нибудь, а родной дочери...

...Ну, собралась старуха, ну, посидела на дорожку, держа сумочку на коленях и задыхаясь в жарких одеждах, ну, помолчала, сцепив намалёванные губы... И всё же не удержалась:

— Опеть нонче куролесить будешь, позорить свои седые волосы, перед молодёжью выхваляться?

Иван Матвеевич смолчал; старуха воодушевилась:

— Ты уж посиди дома, а? Чё тебе этот праздник?! Наступил и прошёл...

— “Наступил и прошёл”! Ты заслужи его, этот праздник! Языком-то ба-лаболить все горады!

— Я-то тоже работала, милый друг, тоже внесла лепту! — понимая, что разговора не будет, а, наоборот, грядёт с её уходом светопреставление, поднялась старуха. — А вить не журу, как свинья, не довожу себя до ручки!

— Я, может, вовсе пить не буду!

— Ой, не будет он! Дождь с камнями пойдёт — все крыши, все четвертушки в избах побьёт!

— Дождь не пойдёт, а вот чирей у тебя на гузне выскочит...

II

В последнее время Иван Матвеевич не признавал в теперешней жизни своё, родное, будто вернулся после разлуки, а — дом постыл, не радуют ребяташки, не ласкает жена... Либо сама жизнь пошла дугой, либо он весь проигрался и ходит под небом, как под игом?

Эту мысль он выбрал однажды, словно перемёт из реки, и с той поры не знал, чему верить.

Он и раньше-то не пил — выпивал, тут же и вовсе прижёт болячку и даже по субботам не мордовал Таисию, не обращал её внимание на нужды рабочего класса. Но и когда всё же подступал повод — привезут ли дрова, а не то с пенсии слупит сотенную или, как нынче, ударит святой праздник — то не было на сердце отрады, ровно клевал потравленное зерно.

— Да, выжучил ты, Иван Матвеевич, свою цистерну! — с грустным смешком опрокидывал стопку кверху доньшком, к неверной радости Таисии.

Тошно, хоть в петлю лезь!

Но, разобраться, как ей, жизни, всю дорогу быть одной и той же, идти долгий путь, да не сбить каблуков, выгорать под солнцем — и радовать юным зеленатым цветом? Это в советскую пору завозили в магазин ткань, бабы тянули её с деревянного веретёнца, продавщица чиркала мелком, пластала кривым ножом — и плыли бабы в одних платьях, друг перед дружкой выставлялись... Чем форсилы, глупые?

...Лошадь, от мошки и слепней завалась в траву, так же катается, хрипит и бьёт ногами, как душа Ивана Матвеевича, жалимая думками.

С уходом старухи он облачился в болоньевую, облепленную мелкой ельцовой чешуёй куртку, в петлицы которой были продеты капроновые поводки с крючками, обул закатанные в коленях бродни, снятые со штaketника, и с ведёрком пошёл проверять на реку закидушки.

Весна упала ранняя, в начале апреля подскребая у дровяника щепу. Иван Матвеевич ушам не поверил: из тёмного клубистого неба с треском, будто сломив шифер на крышах, ударил первый гром! Но допрежь прохлестал сильный дождь, до трупной синевы вспухла река, раскатились от берега вымоины, хлынула чёрная грунтовая вода. На Вербницу сломало лёд, поволокло, кроша, загребая камни. До угора доплескала вода, в иные дворы зашла с огородов, залила ямы. На том успокоилась, покатила вниз и, точно являя черту, до которой могла отступить, встала на полпути к руслу, держа при себе нижнюю, береговую дорогу, отделив старое село от главного посёлка, где почта, школа, больница и всё на свете.

Давно рассветало, синилось утро. Зябко, морошно было, волокло по небу чёрные облака, а у реки поддувал ветерок, загребал семена польни и сыпал горечь. Грязь от вчерашнего дождя остыла, опуталась серебром, ломалась под ногами. В редких избах, жёлто воспаливших окошки, бежали из труб дымки — топили не до жару, а чтобы пахло живым. Никого ни в проулке, ни у реки Иван Матвеевич не встретил, несмотря на красное число, мёртво и безлюдно было кругом, как в оставленном селенье. Эх, это раньше чуть свет гужевались мужики, кумекали насчёт массовых мероприятий, раскулачивали баб и таскали втихаря водяру, солёных сигов, сидели под угором за огромными деревянными катушками от корабельных тросов, рядили, кто из каких вышел сражений, и на спор палили по льду из ружей...

Среди чинно-парадно одетых фронтовиков, блестящих наградами, не то чтобы чирьем на ровном месте, но особнячком восседал безусый Иван Матвеевич, покуривал скромно да шикал на выбегавшую доглядывать за ним Таисию. В разговоры особо не лез, ибо боёв-то, правду говоря, хватил краем — фашисту уж наступили на одну ногу, оставалось за вторую потянуть и разорвать гадину в Берлине.

За ним, как говаривал комполка Сутягин, следил сам Бог. Он без раны вышел из пекла, да и после не сказать, чтоб не было фарту.

Как все, мантулил в колхозе, пилил лес, стоял с тракторной бригадой на Перевесовских полях, покосил по речке Королёвой, а осенью, известно, уборочная... Наконец принесла Таисия, запахнув розовый комочек в одеяло, быстро бежал Иван Матвеевич в мороз из бани, не веря своему счастью и часто дую на сморщенный лик ангелочка, и белый пар стоял у него над непокрытой головой. Ну, поставили дочку на ноги, бойко вышла в отличницы, одних похвальных листов сколько перетаскала. В срок спровадили его на пенсию, да он ещё не сдавался, гонял движок на станции...

И не сказать, чтобы кипел, кипел, да прохутился, как баннный котёл!

Как прежде, бил под горой белые камни на известь, зимой проверял с пешней уды, изымая из журчащей проруби на снег чёрных ворочающихся налимов, откидывал от стайки навоз, отпахнув на груди телогрейку. Краеведы, опять же, навещали из района, фотографировали во дворе, трясли, как зябкую берёзку, пытая, сколь он фрицев заколол штыком и какая светлая любовь приключилась с ним на петлистых дорогах войны.

Но это если кумекать внешним счётом — хорошо, а глянуть сердцем — по-га-но...

Над рекой кружили чайки, выхватывая из пенной струи рыбёшек. Следом за ним увязалась кошка, мастью похожая на осиновый лист в сентябре, деликатно ставя мягкие розовые лапки и выгнув хвост, сбежала под берег и оттуда горела зелёными глазами. Иван Матвеевич достал из-под камня консервную банку с червями, чувствуя дрожь во всём теле, поднял из реки и слегка потянул толстую леску. Тук-тук — билось на другом конце: не то налим, не то няша мырила на течении.

— Ну как, Мурка, будет нам нынче на уху?..

Отделилась дочка, упорхнула в город, в университет — словно все четвертинки, куда раньше слепило солнце, выбили в избе, наполнив её стылым ветром, неуютом и необжитостью, заброшенностью детских игрушек, которые он неучею на потеху когда-то строгал из весенней сладкой берёзы.

Тогда-то, кажется, и пошло всё прахом, вконец разладилось с Таисией, одно время даже столовались врозь...

У Таисии остались дети от первого мужика, мальчик и девочка. И никак Иван Матвеевич не мог ей этого простить, водился на вред с залётными шалашовками, а пьяненький налетал, бил в зубы. Сперва дети жили с бабушкой-дедкой, а известно, дети на стороне, как трава на запретном берегу: сею с неё не поставишь, от пала не убережешь. Но умерли старики, родители Таисии, пришлось взять ребятишек к себе.

“Поперечный ты, Ванька! — говаривала о нём бабушка Петровна. — Не будет тебе счастья, всё-то ты кажешь свой нор, гляди, сломают оглоблей хребёт!”

Что же делать, если не умел Иван Матвеевич заломать свою душу, не подпускала она чужих! Пьяный, обзывал ребятишек заугланами, строго следил, чтоб ничем не забили Катеринку, не вырвали пряник, не потаскали карандашей. Они и боялись его, как цепную собаку, хоть наутро и рвали Иван Матвеевич раннее седё на висках, манил Алёнку с Павликом детскими часиками, одаривал мятыми рублишками. Таисия и потом слала им деньги с его пенсии, когда после десятилетки они упорхнули к отцовской родне в Усолье — открыточки не пошлют на Новый год. Ему-то что, он им чужой человек, а она мать, близкая душа...

Изредка казалась Катеринка, как в детстве, ходила с отцом в баню. И плакать хотелось Ивану Матвеевичу горячими слезами: бледненькая, какая-то вся сизая, как апрельская пороша, лежала она на полочке с острыми девчоночьими коленками и едва поднявшейся грудкой, и сжатые бёдра её, которые он мохнато охаживал веником, спокойно видя подбритый кусток лобка, были несуразно тоненькие, не материнские. Что-то не заладилось у Катеринки с мужем, извела ребёнка до срока, как ни страшала её Таисия, а Иван Матвеевич даже заказывал ей заступать на двор! Но без неё и вовсе хлеб не впрок, словно мор навалился, сам же и запросил мира...

— Челомбитько, ты и ешь Челомбитько! — в пылу да с жару палила по нему Таисия, лила свой ушат. — Всю жись, как прокажённый, кланяешься башкой налево-направо, а толку?!

Какого ей, дуре, ещё толку надо? Вернулся живым — радуйся, полёт с честью — вой! Твоё, бабье дело, а в мужчинскую душу носа не сунь...

Напопадали одни ёрши, расцеперясь колбочками, как бабы гребёнки, болтались на крючках. Хлопотно было снимать щуку, налима — те забирали повод с огромным крючком целиком, — а этот стервец сопливый их перещеголял. Главное, что глаза с возрастом не брали такую кроху, как крючок, он червей-то наживлял, протыкая во многих местах, а тут ещё руки деревенели, пальцы, что колотушки — сиди и тарабань по лавке, пой “Калинку-малинку”.

— А-а, чтоб тебя побрало! — с раскочки перехлестнув поводок о сапог, Иван Матвеевич оскрёб с крючка алые жабры.

Ёрши с выпученными глазами, раскрыв рты, отлетали далеко от реки, выматывая кишки, пусто шевелились в старой траве, где кошка добывала их лапой и жрала с треском, напарываясь на колбочки и давясь жирной жёлтой икрой. Эх, а раньше рыбалка была — в цинковой ванне заворачивались красно-синие таймени, серебром светились вальки, сиви, а уж ельца и сороги по ведру вытрясал из корчаги, рубил в корыте курам и поросётам...

Он обошёл все закидушки, поднялся по берегу до клуба, но подумал и не стал, идя назад, начинять крючки, кубарем смотал лески на разбухшие осклизлые мотовильца. На последней закидушке всё же болтался бледненький елец, за ночь прибитый волной о камень. Иван Матвеевич чего-то пожалел рыбёшку и не стал кормить её кошке, а бросил в реку. Ельчику бы юркнуть на илистое дно, затеряться среди камней, да он бессильно повалился на бок, и налетевшая чайка, хищно раскинув клюв, ударила по нему и понесла, точно серебряную ложку.

III

Была у него заначка — бутылка белой, которую он выудил из ямы да припрятал, не надеясь получить в праздник вспоможение от старухи.

В кухне Иван Матвеевич, накренив полный стакан, суеверно накапал на стол и, пока водка текла с обтрёпанной по углам клеёнки, убегая в щели меж половиц, держал свою горькую долю на весу. И водка дрожала в стакане, сама собой выхлёстывалась за гранёные края.

— Ну, братики-солдатики, лежите покойно! — и, помолчав, будто ожидая ответного голоса из-под пола, за павших в бою и в миру раздавил фронтовые (это он гордился, что раздавил, а на деле одолел в три захода, замирая дыхалами), закусил чесноком в фиолетовой кофурке, накрутив колёсико радиоприёмника, откуда тихо пело: “Этот День Победы по-о-рохом пропа-ах!”

Всё в нём забродило от знакомого мотива, не от водки лишку развезло, так что, поднимаясь, он загрёб горстью клеёнку, хоть Иван Матвеевич и обвык, что все кругом кликали его последним ветераном...

Последним из стольких красивых русских мужиков, которых когда-то встречало с Победой село!

...Он хорошо помнил серенький, тоже при дождичке, тёплый пыльный день, дребезжащую бортовуху с молчаливым пареньком, который захватил его из порта Осетрово. Иван Матвеевич с утра дожидался попутки на село и уже погулял по главной районной площади, поел в столовке “Голубой Дунай” бесплатных пирожных, посмотрел постановку — на площади выставили машину с открытым кузовом, и артистка Смирнова, напустив на грудь красный платок, бухала жёлтыми туфельками в дощатый грубый пол и, как стаю голубей, выпускала старые частушки — победных ещё не сложили:

*Разобьём фашистских гадов,
Скоро Гитлеру капут,
И вернутся все ребята
К нам домой, в родной Усть-Кут!*

Паренёк был чубатый. Так хорошо из-под козырька, верно, отцовской кожаной кепки вились мягкие послушные волосы. Солнцем, молодостью светилось круглое, как подсолнух, лицо. Было оно в маленьких рыжих конопущках, которых он, дурачок, стыдился и воротил глаза, горевшие огнём. Он доставил спавших в кузовке артистов к бревенчатому Дому культуры, а сам выпросился домой до утра: нельзя было дольше, каждый день в честь Победы давали по району концерты. Звали паренька Славик — и это весеннее, женское имя особо глянулось Ивану Матвеевичу, который наскучал по бабам, по ребятишкам, загрубел в окопах, проконтил шинельку злым табаком, забил ногти землей, кровью, смертью.

— Как батёк-то? Навоевался? — едва въехали в сосновый лес и сладко, вольно нанесло в отпахнутое окно сыростью земли, холодом травы и предлостью старых листьев, спросил Иван Матвеевич и закрыл от невозможности глаза, греясь палившим в лицо солнцем.

Славик перекатил в горле кадык, но ничего не сказал, только сухой огонёк финской зажигалки, стрельнувшей у него в руке, свободной от баранки, заплясал фиолетовой тенью на его омрачившемся лице. Приоткрыв на миг глаза, коря себя за любопытство, приметил Иван Матвеевич неладное с парнем, хотя это не любопытство было — зудилось поболтать с земляком, услышать родную речь.

— Отвоевался! — наконец хрипло сказал Славик, швырнув в бардачок папиросы. — Мамка ещё в сорок первом получила похоронку, бабка Зоя поправляла ей голову...

— Где полёг?

— На Втором Прибалтийском, — чеканно ответил Славик, словами эти-ми, как священной оградой, забирая и жизнь, и смерть своего отца.

— Война... — ничего не выдумал Иван Матвеевич, обронил, как чувствовал, как едино говорили до него, и весь остатный путь молчал, глядя

на бежавшую под колеса дорогу, изредка — на пристальность Славкиного юного лица в зеркальце, тщательно обтёртом тряпкой...

Не переваривал Иван Матвеевич, когда ребяташки пытали его “за войну”, а если Таисия брала за ноздри и гнала в сельбо за разным дефицитом — само собой, поперёк очереди, — он, изматерив её до жути и едва не прибив сжатыми добела кулаками, убегал в баню и там сидел безвылазно — садил сети, подшивал валенки или впрок колол из полена зубья для граблей.

В прежнее время в клубе трещала ручка аппарата, и в кольцах душной застоялой пыли крутилось военное плёночное кино, а на белом дерматине экрана драли горло в бравых песнях и форсили на передовой чистые опрятные солдатики. Они форсировали вброд чёрные, кипящие от пролитого свинца реки, в которых фашисты тонули, как слепые кутята, брали без выстрела немецкие укрепления, будто бы сотворённые чуть ли не из картона, вовсю дурачили гитлеровских командиров да налево и направо крутили любовь, само собой, с прогулками под ручку и ломанием черёмухи у реки. Едва выси-дев первые эпизоды, Иван Матвеевич стучал спинкой красного деревянного кресла, на мгновение загораживая своей скорбной пригнутой тенью жизнь какой-то другой, ему не ведомой войны, где не жужжат пули, и уходил до перерыва, от обиды и невозможности горькой правды на земле, по-солдатски скупо и скрытно заплакав на пустом тёмном крыльце...

Сам же он всю жизнь бережно хранил в себе воспоминания о священной, даже не хранил — они сами, своей волей всегда и всюду были при нём. Не сказать, чтоб война загребла его и, как шелудивая баба, не отпускала. Иван Матвеевич был отходчив — но как от смерти отойдёшь?

И чем бы ни наполнилась голова, о чём бы ни тужило сердце — главной тяжёлой была эта непроходящая боль, а уже за ней вставали рядком другие боли. Эти только ныли, только зудели, только шныряли, не пробирая до души, не поворачивали её только на себя, не вставали над бедной, как рваная свинцовая туча над ободранной ранней пашней, не загоняли стервятниками...

Но и исклёванная, с красными от выплаканной крови бельмами, ни на одну боль, кроме боли о поруганной русской земле, не оборачивалась душа так преданно и по-женски безропотно!

Остарев в остаток, застыв перед гробом в ярости выстывающей седины, он, как минувшее утро, помнил всё: пыль и духоту землянок, осеннюю кисейную мокреть и вязкую грязь передовых, звёздный холод и огонь ночных рек, а более всего почему-то тёплую болотную воду в котелке, мутную от песка, который сыпался с потолка блиндажа, слаженного из неошкуренных сосёнок, — пробежит ли с катушкой проволоки связной или под чьим-то задом расцветёт багровым цветком снаряд, окропит красным и порвёт одежду на безвестном солдате...

Тая свою боль, забывая её для всех и не умея похоронить для себя, — как вчерашнее, милое, дорогое перебирал Иван Матвеевич в памяти качание дощатого бортика грузовухи. Он всё дрожал, скрипел ржавым шарниром, хоть Славка и притормозил на своротке в село — будто грузовуха прощалась с Иваном Матвеевичем, отлетая в другие края за мёртвыми, живыми ли побратимами-окопниками, по которым сомлела в девичьей непочатости родная земля.

— Давай, Славик, счастливо тебе! — за руку крепко попрощался Иван Матвеевич со своим случайным шофёром и сбросил нехитрые манатки на траву — зелёную, в пыльных разводах от мелкого утреннего дождя. — Матери поклон передавай...

— От кого?

— От солдат, — Иван Матвеевич подогнул нашарканные в долгом пути голенища кирзовых сапог — последней “роскоши” войны — и, помахав Славке, оставаясь при дороге один, вдруг подкосился в ногах и ополз прямо на пыльную обочину, увидев небо — большое, светлое небо родины.

Шёл он в село мимо леса, от счастья и резкости воздуха, разряженного недавней грозой, дуряя головой, как мальчишка.

На ходу Иван Матвеевич бережно принимал в раздавленную мозоли ладонь порхавших бабочек, которые оказывались золотисто-чёрной шелухой со-

сен, что обтрёпывал вешний ветерок и нёс над освобождённой землёй. Он выдувал на пропылённое скуластое лицо солдата аромат набухшего жизнью дерева, юность картоваы травы и теплоту обложенных золотом осенней кухты луж, высухавших в овражках. Светились в синем воздухе паутинки, протянутые над дорогой и за корешки трав, за комочки подсохшей земли зарочённые снизу. Тонко выпевали чибисы, мелко-мелко сея крыльями. И, обнажив белые подмышки, стоял высоко над миром молодой сильный коршун, поймав трепетную струю и застыв в пространстве.

Чудные, в белой нежнейшей шершавости берёзки трепетали среди вспаханного поля, и ветви их, уже опушенные в глянцевою зелень, качались и сверкали кусочками зеркала.

Иван Матвеевич не сдержался, прямо с колотившим в спину вещмешком, выбивая подмётками землю, подбежал к берёзам и, уперев в пересохшую губу кончик высунутого языка, перочинным ножиком аккуратно порезал кору. И — о чудо! — сохранив девственность нетронутых грудей, из крошечной ранки пробрызнули в девичьем счастье и трепете первые, отдавшиеся его губам капельки сока. Он уже повернул на убыль и едва сочился, но всё ещё был сладким, и это-то нечаянное вино победы, пригубленное солдатом по пути к дому, было и его первой горькой долей на миру.

Солнце едва повалилось за лесную гриву, распахивая облака. Много, очень много было в этот день облаков! Или всегда было так, да он не замечал их разноцветного клубенья?

Они пышно, то ярко-сине, то свинцово-розово, а то в жёлтой дымке, идущей изнутри, неслись над землёй, а Иван Матвеевич вспомнил из детства, как в субботу, после стирки, мать опрокинула с крыльца банное корыто. Он, босоногий, застыл на месте, со страхом и восторгом вида, как его отступает молочно-синяя, искрящаяся фиолетом и золотом пузырей пена в чёрных разводах золы, которую мать добавляла “для злости”, стирая заскорузлые отцовские рубахи...

“Ну-ка, милые, плывите далеко!” — застыл вздох на устах Ивана Матвеевича, а под горой зачернели, без мужицких рук покоясь, сирые крыши изб, и он не знал, что в нём произведётся в следующий миг, какой снаряд разорвётся в душе, горьким, сладким ли дымом надуёт в лицо...

IV

Так, издрав душу воспоминаниями, будто речным песком нашаркав до крови, он сидел за столом — седой, оставленный солдат ничейной армии. Старуха зря подняла волну, Иван Матвеевич отринул бутылку и больше к ней и не притронулся.

В избе ещё не белили, от дождливых сумерек совсем было серо и уныло, от чердачного снега ржавчина протекла на потолке. А за окошком, в котором уже была вынута четвертинка, пошло шевеленье. Парни, давая газу, прогнали на мотоциклах, надсадно стрелявших без глушаков, сзади голоушие девки подпрыгивали на седушках, обтянутых собачьими шкурами. Школьницы с пластмассовыми цветами, мелькнув белыми, зелёными и синими бантами, прожурчали весёлыми голосишками. Старухи вырядились пёстро, батожками охватывая впереди себя дорогу, будто намечая рубежи, к которым нужно подвинуться, прокандыбали на жёлтый школьный автобус, специально посланный за ними...

Он-то не торопится, без него не начнут!

Примочив под умывальником волосья, уже облачённый в белую чистую рубаху, только не отутюженную, с мятыми рукавами, Иван Матвеевич набрызгал “Шипром” даже в рот, чтобы перебить водочный запах. Повязав ставшие великоватыми брюки дерматиновым ремешком, уже не раз чиненным, поверх тёмного пиджака Иван Матвеевич намахнул почти новую, немарко-чёрную куртку на синтепоне и достал из-под лавки начищенные с вечера ботинки. Прежде чем обуться, долго крутил-вертел на ноге носок, пряча дырку, досадно мотылял головой, да и плюнул: разуваться ему там, что ли?!

Обувшись, по свычке военных лет побухав в пол ногами, словно собираясь в ночную вылазку и проверяя: не загремит ли? не зарочит ли? — Иван Матвеевич с отвращением посмотрелся в овальное зеркало, подвешенное в кухне на гвоздь: мешок с костями, сизый пух на лице, глаза, как стухшее молоко! Ни чина, ни склада в одеже. Воротничок задрался, будто драньё на крыше, брюки, забывшие утюг, накость пересечены молнией, пуговики на пиджаке из разных дивизий: сверху идут большие, тяжёлые, как танковая поступь, посередке месяц грязь две средненькие, а уж внизу, ближе к ширинке, егозливо скачет на обвисшей нитке, норовит в тылы совсем мелюзга, даже не того цвета...

По переулку, как угорелый, пролетел какой-то лихач, бампером “Жигуля” едва не своротил палисадник, только прошлую осень крашенный в приветный зелёный цвет.

— Ах, чтоб тебя! — в сердцах воскликнул Иван Матвеевич, но омраченье быстро прошло: больно радостен и светел был день.

Митинг, как обычно, в одиннадцать у школы, а это ещё в посёлок надо попасть, ибо перешеек залило, а нанятый от сельсовета перевозчик тоже, поди, норовит с молодёжкой на поляну. И надавал Иван Матвеевич, казнясь, что покочевряжился и не поехал со всеми автобусом, озирались по сторонам, но до самого взвоза не попался на глаза ни один человек. У магазина, нетерпеливо куря “Беломор”, заступив в короткую тень от крыши, не поджидали друг друга мужики, не шутовали, привечая товарища: “О-о, Иван Матвеевич, генерал, едет верхом на палочке!”, не косились мельком на грудь, как будто с прошлого раза там могло прибыть. Да и от магазина, бывшего до революции купеческим домом с большим двором и двухэтажным амбаром, чернел фундамент и зарастали лебедой бетонные крылечки...

Петюня — высокий худой балбес, детдомовец, глядевший кругом с прищуром, словно всё ему обрыдло, — лежал, задрав ногу, под ольхой, на мягкой жёлтой траве, набросив на лицо серенькую замшевую кепку со сломанным козырьком, а лодка, вцепясь в берег железной кошкой, качалась задом на мелкой ряби, сверкавшей на глянувшем из-за облаков солнце.

— Перево-озу! Перево-озу! — шутя покричал Иван Матвеевич, сев на тёплый нос лодки.

Не сразу откликнулся Петюня, делал вид, шельмец, что не его милости касаемо, а когда потряс его Иван Матвеевич за рукав, совсем раски: внеплановый рейс, вези задаром старого пердуна.

— Хоть бы поздравил с Победой, Петька! — перевалив себя в лодку, со смешком, но и со скрытой обидой сказал Иван Матвеевич и поглядел на заспанное, недовольное лицо перевозчика.

— Пузырь поставишь?! — оскалился бледно-розовыми дёснами, но грёб старательно, с силой садя вёсла в быструю кипучую реку, которую с боку захлёстывала хребтовая речушка, норовила смахнуть лодку на стремнину.

И не слышно было ранней песни, только серебрястые чайки кричали, обсев редкие серые льдины, которые выталкивало с боковых речек вместе с вмёрзшими сучьями и чёрной листвой.

— Не я тебе, а ты мне должен ставить бутылку, да не одну!

— Ага, бегу и падаю! Открывай шире пасть!

— Петька, Петька...

Ладком доставил до того места, где затоплённая дорога, отряхиваясь, выбегает из реки и дальше пылит через мост. Машины, мотоциклы ехали в обход, по трассе, делая огромный крюк, садя горючку. Олухи, конечно, своими-то ногами скорее...

— Сильно-то не задерживайся! Толкнёшь речь, погредишь медалями, рюмаху засадишь — и греби обратно. Я, дед Иван, до часу ещё подожду, а потом пльви вразмашку!

— Свиныя ты, Пётр...

— Свиныя тоже ись-пить хочет!

Ох, он бы обматерил зубоскала, он бы таких речей насовал ему в пах и дышло, каких ему сроду не перепадало! Да стыдно перед павшими товарищами, и так с Таисией с утра сцепился, обмарал душу грызнёй.

— В час буду как штык! Не умирай раньше времени... — не оглядываясь, часто задыхав, пошёл Иван Матвеевич.

— Ну, трюхи можешь придержать коней! Я, если чё, тут неподалёку буду, покричишь меня, как потерпевший...

Одолжение сделал! Но чего от них и ждать-то ныне? Им смерть не смерть, а именины. Пьют, дерутся ногами, дураков плодят...

О, если б не святое событие стояло за красным от крови числом, коли б не одна солдатская шея хрястнула ради него, когда бы не замерли на фашистских удавках старики, не были бы изруганы русские женщины, не взвились бы вместе с детьми адовым огнём сёла и города, не омрачилась бы единым взмахом проклятой свастики вся Россия и не стояла б, как застигнутая половодьем белая вербочка, нагнутая шалой чёрной рекой, — Иван Матвеевич, будь его воля, вовсе отменил бы этот день, чтобы не поганили и без того обезображенную землю, которой и так тяжко от проросших травой черепов, от безвестных могил и ржавых касок, оплаканных горьким дождём!

Вот и Петька: никогда он его на митинге не видел, плевал он на всех, на Ивана Матвеевича плевал! Наверняка с утра, пока перевозил приехавших на городском автобусе, насыбил мелочи, сейчас затарится в магазине да удерёт, будет он дожидаться...

Спасибо, разгулялся денёк, ветерком понесло облака, а с ними невесёлые мысли. Омыто восстало в небе солнце, приглядывало сверху Ивана Матвеевича, положив ему на плечо тёплый луч. По реке, распутив надвое струю, прозвенел жёлтый “Крым” с двумя людьми — один за рулём, другой с ружьём наизготовку. Из колеблемого течением ольшаника, гагая, поднялись утки, засеребрились быстрыми крыльями, пропадая на сером фоне кустов.

— Ну, паразиты! Ведь сказано в газете, что нельзя бить с лодки, а они за своё! — Иван Матвеевич замедлился, уставясь на реку и ожидая выстрела, но лодка прошла в низовье.

Зато накатила уже знакомая машинёшка, набитая незнакомой публикой. Георгиевская ленточка, подвязанная к боковому зеркальцу, клокотала на ветру. Чуфыкая полуспущенными колёсами, на кочках оскребая бампером гальку, хлопая грязью, фиолетовой от призрачного света облаков, “Жигулишко” полетел в посёлок, а Иван Матвеевич отступил на обочину, поскорю замахнув на лицо отворот курки...

От винта стремительной пыли перхато сделалось в горле, заслезились глаза. Но и то не беда — жив остался, не свернули под угол!

V

На территории двухэтажной, из белого кирпича школы, стоявшей на угоре и обнесённой штакетником, уже собрались люди. Из отпахнутых окошек глядела ребятишки, а над крылечным козырьком завернулся кругом древка выцветший флаг, который каждый год вывешивали в этот день ещё с утра. Красные и синие воздушные шары, напрягавшие с порывами ветра тонкие нитки, обрамляли тряпичный транспарант с бумажной надписью: “С Днём Победы!” На концах транспаранта, прикрепленные булавками, летели навстречу друг другу голуби из белого ватмана.

Раньше много лавок стояло у гранитного крыльца, да сбоку ладили стулья — а нынче обошлось двумя лавками. На них уже сидели Мухтарёва Альбина, Сопрыкова Тамара, Настасья Шибанова и другие старухи, все, как одна, обутые в галоши с оторочкой из искусственного меха.

Иван Матвеевич, отвечая на приветствия, протиснулся сбоку.

— Ну-ка, девки, потеснитесь!

— Или тебе места мало? — прищурившись, с затаённым смешком откликнулась Мухтарёва, смолоду зубоскалка и активистка. — Гляди, сколь ишо — хоть Настасью на спину вали!

Старухи мелконько затряслись, горстью сухих орехов раскатился смех.

— Да ну тебя, Альбина, пошла мести языком! — укоротила подругу Шибанова, опираясь на уставленный в щель между бетонных плит магазинский посошок с пластмассовой ручкой.

— Чё-то припозднился наш солдат? Никак, Таисия не отпустила? — утерев пальцами толстые живые губы, на которые от сочности речи выбилась слюна, снова громко заговорила Альбина.

— Ага, дёржит оборону.

— Где она сама-то, чё опять не пришла? — спросила моложавая Соприкова с укоризной: Таисия от роду на праздники ни ногой.

— Укатила в город!

— А чё она в нём забыла?

— К дочке... — Иван Матвеевич тускло поглядел на мельтешню кругом.

— О, будто не могла подождать! Много ли нас осталось, на году раз или два собираемся! В прошлом годе ишо ничё наскребалось, а нынче ни Христини Францевны, ни Паны, ни Катерины Петровны...

— Да и Николая Глебыча считай! И Ачкасова сюда же...

— Старик Тамирский...

— Который?

— А стрелил-то в себя из малопульки!

— Тоже, чё не жилось человеку?

— А чё хорошего? Дети пьют, внуки пьют, пенсию таскают, нигде не работают да ишо командавают! Вот он выждал, когда никого не было дома, пошёл в сарай да пульнул в себя...

В чёрные динамики, выставленные на крыльцо, просипев, откашляв горло, празднично заиграла музыка.

— Едри вашу мать, засипело, ажно уши заложило!

— Слушай, щас начнётся!

— А-а...

С приветным словом отрапортовала поселковая голова, мелко стриженная и, ровно пасхальное яйцо, крашенная в луковый цвет. Она громко перечислила все проведённые за год мероприятия, посвящённые ветеранам войны и труженикам тыла, означила, сколько их осталось числом — и получилось совсем негусто, но всё же терпимо, ибо в других поселениях и тех не было.

За ней к микрофону на длинной ножке вышел директор школы Гончаров, поджарый нетрепливый мужик в очках, преподававший физкультуру. Этот высоко и хорошо говорил о трудностях войны, о том, как надо беречь каждого ветерана, но сам, судя по редкому седью, не победившему смолёвую черноту волос, не зачерпнул того лихолетья и малой горсткой.

Едва закончил директор, которому много и сильно хлопали, как подле микрофона, точно синицы возле кормушки, столпились первоклашки — белый верх, чёрный низ. Высокая моложавая учительница, у которой под сиреновой блузкой девчоночьи выступали позвонки и острые, как у Катерины, маленькие грудки, что-то шептала ребятишкам, склонив над ними соломенный дождь волос и за руки разводя их, как мать-гусыня, на два рядка — мальчиков и девочек. Микрофон, притянутый книзу, встал посередке. С оглядом на волнительно покрасневшую учительку, девочки, едва грянула из динамика музыка, первыми затянули про “подлую войну”, “А-а-а!”, разевая ротышки и закатив к небу ясные глаза. За ними, дождавшись своей партии, баском подхватили мальчики, нахмутив брови и глядя поверх двора...

Это Иван Матвеевич ещё мог перенести, хотя, глядя на ребятишек, он и почуял, как в сердце что-то остро упёрлось. Но из-за свежебеленой колонны вышла в алом шарфике из атласа, цокая каблучками, нафуфыренная краснокудрая председательша местного Совета ветеранов.

— Вспомним поимённо всех ветеранов, кто ушёл из жизни в мирные дни! — громко крикнула председательша и зашелестела в микрофон бумажками, словно осенний ветер палой листвой:

Антипин Георгий Николаевич: 1926–1978

Антипин Иван Михайлович: 1922–2008

Антипин Иннокентий Иванович: 1924–1989

Антипин Павел Фёдорович: 1900–1970

Антипин Савва Егорович: 1914–1962

Во всём районе самая большая потеря выбила двор безвестного Антипа, который дюжих был кровей, коли засеял своей родовой окружные сёла и деревни. Как-то на досуге Иван Матвеевич с карандашиком высчитал по книге “Память”, что только из их мест ушли на фронт сто шесть Антипиных, а полегли пятьдесят три! Он перепроверил себя, а потом и Катеринку заставил обсчитать списки — нет, всё верно, ровно половину выхлестало. Иван Матвеевич бывал в городе подле обелиска, не поленился и там сделать ревизию: сто два Антипина в граните, а всего призвано было, говорят, двести одиннадцать...

Антипин Алексей Яковлевич: 1902–1957
Антипин Борис Елизарович: 1924–1986
Антипин Василий Константинович: 1894–1974

Председательша запурхалась перечислять, ей поднесли воды, она выпила, долго откашливалась, прежде чем соскочила в списке на одну букву ниже. Ивану Матвеевичу показалось, что как будто бы и упустила она многих. Дальше слышалось разбродно:

Аксёнов Гермоген Васильевич: 1921–1987
Деев Николай Дмитриевич: 1923–2001
Корзенников Дмитрий Константинович: 1922–1993
Подымахин Иван Яковлевич: 1908–1981
Таурский Фёдор Гордеевич: 1909–1984
Токарь Иван Аксентьевич: 1911 — 2000

Ещё долго, прежде чем упереться в Шестакова Антипа Адамовича — далее список обсекался — читала председательша, но Иван Матвеевич уже не слушал её, застигнутый думой, как ветром в поле. И было с чего загоревать: ещё лет десять-пятнадцать — и во всём мире не останется ни одного свидетеля ужасной гибели народов! Взять за расчёт, что последним призывом заломали мальчишек двадцать седьмого года, как Ачкасов, — так по их ржавым забытым обелискам через пятнадцать годков стукнет столытник. Живые до единого уйдут, всё без них изоврётся, как давно и при них творится кругом, всё погрязнет в грехе и бесстыдстве. И знать будут о войне, что солдаты вшивели в окопах, гадили на передовой да мародёрствовали по населённым пунктам. Как будто чужими руками загребался огонь тех сражений, точно не их сапогами ломалась шея гитлеровской Германии, словно не их черепа впало смотрят в небеса, тщетно вгрызаясь пустыми ртами в не принявшую их землю...

Набежала тень тёмного облака, зябко подул из-под угора ветер, и листки затрепалась в руке председательши. Но и ту напасть пронесло, снова чистым и гладким сделалось небо.

Вперёд выступили две старшеклассницы в светло-зелёных пилотках, под которыми упруго собрались в узлы тяжёлые косы. На белых тонких шеях, поверх воротничков голубых рубаш, усаженных на худые девичьи тела, забыто трепыхались пионерские галстуки. Улыбаясь, гибкими пальчиками отщипнув с боков и придерживая чёрные юбочки, которые прилеплял к ногам охальный ветер, старшеклассницы какое-то время восторженно смотрели на заречный сосновый лес, на сморщенные тени проплывающих облаков, переглядывались, понуждая друг друга не страшиться...

— Девки, а девки?! Слышь? — из задних рядов, куда и во времена Ивана Матвеевича сбивали непутёвых парней и где с начала действия посмеивались да крутили музыку на телефонах, накатил набравший басовой крепости голос.

— Максим?! Максим Аксёнов?! Я тебя сейчас выведу из строя и покажу всем, какой ты есть! — умирал, рыская по рядам, хрипчатый нервный голосок, видно, классного руководителя этого самого Максима, но весельчак не унимался:

— Э, Танюха? Катюха?! Ну чё встали-то? Пляшите! Я вам даже спою: “Выйду в поле, сяду ... — далеко меня видеть!”

И снова — “га-га-га” по рядам, окрики, шуршание одежд.

— Бесстыдник! Никого не слышно, только тебя! — громко зашептала коротковолосая усталая класснуха с жёлтым девым лицом, всё ж таки изловив Максима и цепляясь пальцами за петельки на его джинсовой куртке.

— А чё они встали, как эти? — переминался с ноги на ногу чернявый красивый парень, переросший училку на голову, и глаза его высверкивали, как два кусочка слюды.

— Не твоё дело! Твои усмешечки дурацкие услышали — и опешили...

На шум оглянулись едино, загневались старухи:

— Снять с паразита штаны да посадить в крапиву!

Но, с улыбкой обходя людей, туда уже направился директор Гончаров, протирая платочком стёкла очков...

В заминку, сбоку от девчушек, выкатилась низенькая круглая учителька из приезжих, которую Иван Матвеевич не знал по имени. Она поймала рукой микрофон и быстро притянула к бледно накрашенным губам, буркнув едва слышно:

— А сейчас участники поисково-краеведческого отряда “Память” расскажут о нашем знаменитом земляке, Герое Советского Союза — Антишине Иване Николаевиче... Начинать, Таня!

Высокая и черноволокосая, с простым русским лицом, не оболганным помадами и тушью, Таня вдохновенно, как выученный стишок, затараторила, вздёрнув совестливый носик:

— Антишин Иван Николаевич родился в 1914 году в деревне Кукуй в семье крестьянина! После окончания Киренской семилетней школы и ФЗО в Иркутске работал инструктором областного стрелкового клуба, а с 1940 года — заведующим отделом Усть-Кутского райисполкома...

— В феврале 1942 года Иван Николаевич был призван в ряды Советской Армии, — за Таней понесла вторая, стало быть, Катюша, расставляя слова, как в февральском пуржливом поле вешки, на которые надо держать огляд. — Он — участник битвы под Орлом. Командир сапёрного батальона младший сержант Антишин в июле 1943 года со своими бойцами снял и обезвредил 400 мин!

Иван Матвеевич помнил своего тёзку, первого из четырёх Героев, которыми понесла река Лена. Они до войны вместе брали ягоды на Заборье. Был Иван Николаевич невысокий, круглолицый весёлый парень, всегда допрежь наедался черники, забывая до синевы рот, а уж потом щипал ягоду в берестяную тару. Мог и вовсе проваляться под кедром у холодного ключика, садя жёсткую махру и прикрыв от блаженства карие, как у девки, глаза. И кто бы тогда подумал, сколь высоко взлетит Иван Николаевич на фронте — и поныне отовсюду видать...

— Преследуя отступающего противника, 26 сентября 1943 года отделение Ивана Николаевича вышло на левый берег Днепра. Младший сержант немедленно приступил со своим отделением к поиску лодок, к изготовлению плотиков из досок, хвороста и мешков с сеном. Лично побывал на западном берегу...

Как же, как же, он и к перевесовским невестам плавал через Лену с другими парнями, так сильно загребал короткими руками и всегда попевал раньше других, будто хотел урвать у жизни самую красивую и сочную любовь.

— По данным, разведанным Антишиным, командир полка принял решение форсировать реку именно на этом участке! В ночь на 27 сентября на лодках и плотиках на вражеский берег стал переправляться стрелковый батальон...

За бойко выносимыми словами девчушек зримо восстало в сердце: кипящий чёрный Днепр, мокрые, оступающиеся на камнях бойцы. Одной рукой они загребают ледяную стремительную воду, другой держатся за склизкие кромки плотиков, и по косе один за другим отходят от берега, смываемые течением. Жёлтые руки прожекторов противника, опавшегося на том берегу, скользят по воде и, нашарив цель, замирают. Серебряными бусами вздымается кверху и осыпается ключьями вода, прошитая наведёнными пуле-

мётами. Сзади, на берегу, опадает сентябрьская ржавь с кустов. От плотика, который плыл впереди, соскользнула рука ткнутого в спину солдата и, будто крыло обезглавленной курицы, быстро-быстро забрала по воде, пока боец не осел на дно. Теперь уже все, кажется, прожектора наведены в одну точку. И снова ливень капель и свинца, ледяная ярость воды и ярость ослабших солдат, наплывающих грудью на плотики. Вот рвануло сильнее, чёрным кустом развернулся, отбрасывая плывущих и щепки разбитых плотов, и сомкнулся в воздухе стеклянный столб. За первой миной лопнула другая, от берега к берегу разрослась судорога, лоя солдат за ноги, словно стаскивая сапоги. Плотики переворачиваются, сбрасывают бойцов, дощатые ящики с установками, раскачиваясь, выбивают из-под себя тёмные гребни, и в этих гребнях мелькают красные перья крови, выползая из пробитых гимнастёрок. И резкий свет бьёт в глаза, вырывая впереди настигших чужой берег бойцов, пригнутые мокрые кусты и пустые плотики на смертно дрожащей воде...

— Здесь, на белорусской земле, в Комаринском районе Полесской области 6 октября 1943 года погиб отважный сибиряк!

— Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года, посмертно... Именем Героя назван стрелковый клуб ДОСААФ в Иркутске...

Как в сильном дожде, сидел Иван Матвеевич, ничего не видя и не слыша вокруг, полонённый музыкой воспоминаний, словно переметнувшись с берега этой, освобождённой, жизни на тот, всё занятый врагом берег, в штурмуемый ночной Днепр, на один из плотиков. Очнулся, когда надали локтём в бок:

— Ты дрыхнешь, чё ли?! — склонившись к его уху, засмеялась Мухтарёва. — Другой раз кличут к громкофону, а он даже ничего, сопит в обе шморгалки!

Как ни махал Иван Матвеевич руками, показывая, что ему нечего сказать, зря тянут из него слово, а всё ж таки пришлось подчиниться.

— ...свой первый орден Красной Звезды Иван Матвеевич получил за уничтожение дота под Выборгом, второй орден — за умелое отражение атаки немцев! — рапортовала круглая сдобная бабёнка, видно, заправительница краеведов. — Есть у него и медали: “За взятие Кёнигсберга” и “За победу над Германией”... Просим напутственного слова!

Под речной накатывающей плеск ладоней он взошёл на крыльцо, валко и беспокойно чувствуя себя. Сбиваясь дыханием, долго гонял по горлу комок, словно высекая камнем огонь, который, едва поднимаясь в нём, тут же затухал в слезах. Они тоже были тут, летели встречь кадыку сырым облаком, завлакивали глаза.

— Ну, что вам сказать? Раньше-то каждый праздник... да и так на встречах с ребятами, на посиделках в клубе... говорили мои старшие товарищи, ломавшие войну от начала до конца... Нынче они ушли, словно разбилось главное дивизию на отдельные полки, полки разломало на роты, а уж роты рассыпались на бойцов, которые утеряли между собой боевую связь, и уже за ратным полем недугами и старостью перешлёпало их...

Выходило, что он один жив, ему держать с самим собой совет, ему идти в бой за несмышлёншей из последних рядов, как редкую вещь, снимавших его на телефоны. Да только какую реку форсировать? Какие пути-дороги крыть солдатскими сапогами? Откуда усталому народу набраться сил и наголо разгромить беспамятество и сытость нищих душ?

Замолк, опустив руки по швам, тискал кепку, двиваясь, как ладно и громко говорил Иннокентий Иванович, а перед ним, как ждущее команды воинство, стояли люди.

— Это... поздравляю всех с праздником Победы! Полегли... много бойцов полегло на полях сражений! Я, и ещё которые, вышли живыми... Но мы помним! И вы помните должны, не забывать... — и сошёл, заплакав, снова под шест ладоней, на этот раз перепавших вяло и скупо...

За ним забалабонили старухи. Особо активничала Мухтарёва, наторевшая в речах, ловко отчиталась о проделанной в войну работе, повертела задком, подмахнула передком. В оконцовке по-заведённому вынесли ходики.

— Прошу почтить память погибших! — почти весело выкрикнула кнопка в жёлтых колготках и пальцем толкнула ходики, сделавшись вмиг серьёзной, опечаленной.

И вместе с ней едино затих дальний гул за спиной, все опустили долу глаза. Вздрыблились, громыхнув лавкой, старухи. Иван Матвеевич, едва пришедший в себя после стояния на крыльце, обеушивший в скомканном платке глаза, смахнул с головы кепку и растерянно застыл с мыслью, что так-то, горестно глядя в землю, и о нём скоро будут молчать.

От крыльца, высоко и мерно шагая, школьники понесли венки к обелиску. На нём давно выцвела золотая гравировка, потрескались гранитные щербатые плиты и свалился в траву мраморный козырёк, раскачанный ребятей. Старые, засохшие и выцветшие венки убрали к празднику, с дорожки из гладких плит смели жёлтые дудочки акаций, очистили от тусклых стеблей цветов клумбы и побелили бордюры. Как прежде, двое парнишек, вскинув тонкие подбородки, застыли с деревянными красными автоматами по обе стороны обелиска, и покуда, двигаясь цепочкой по двое, неся проволочные корзины с искусственными цветами, школьники украшали подножие памятника, они не проронили не слова...

Ходики замедлились и встали, долго дрожал в микрофоне звук засыпающих механизмов, а когда умер и он, директор Горчаков сделал знак садиться. В тишине наплыл звенящий вертолёт и, точно оглядывая сверху толпу возле школы, покрутился раз-другой в небе.

— Щас бомбу кинет! — хихикнул кто-то, и тут же треско разнесся подзатыльник.

Завитые клубные бабы в туфлях-лодочках гуськом выплыли на середину крыльца — грудастые, в цветных реквизитных платках, по старинке забранных на плечи. Они вмиг оглушили современной поделкой о войне, где ни единого правдивого слова не уловил Иван Матвеевич: всё в ней было так захватски изображено, с поганой слёзной интонацией, что сиди и плюйся. В довесок музыка, бившаяся, как рыба в садке, в чёрном динамике, не умела выйти наружу широко и вольно. Она не радовала душу, не то что ранешний распев гармони, отворявшей меха, будто зелёный луг с его весенней звонкой песней, с цветением черёмух и голосами молодёжи.

Сидел Иван Матвеевич, с немым укором дожидаясь конца затянувшейся процедуры, казнясь, что не послушался Таисии и попёрся на митинг. Тем же томилась старуха, нетерпеливо постукивая батожками и кругло зевая:

— Чё-то долго ведут песню, как пьянчугу под руки! Скоро, нет ли кончат? Ишо баню топить...

Отпев и сообразив, что попали впросак — совсем жиденько отозвались слушатели хлопками, — певуны, пошептавшись, бойко стукнули по крыльцу и завели прежнее, тоже не ахти какое, но всё ж мало-мало обращавшее на себя душу. Однако и тут вышла закавыка: едва дотянули до слов “И молодая не узнает...”, как в задних рядах опять зашебуршало ползущей по сухой кошенине змей:

— Как, как она сказала?!

— Какой, говорит, у парня был конец!

— Вот эта клёвая песня! Себе на телефон скачаю...

VI

Он не задержался в холодной школьной столовке, выдул кружку жидкого чая с шоколадной конфетой да подался вон.

Уже сняли флаг и транспарант, а проволочные корзины с цветами у обелиска опрокинуло ветром. Тот самый Максим, что петушился на митинге, и клубный повелитель музыки Дёня — балбес вроде Петюни, только имеющий судимость за побег из армии, — курили, облокотившись на перила, да потягивали пиво из парадно расцвеченных бутылок. Пиво теперь пошло со специальной пробкой из тонкой жести и дергушкой на манер чеки, чтобы, не ломая зубов, потянуть за неё и снять с горловины заглушку, высосать паток, а бутылью хрясь кого-нибудь по башке.

Иван Матвеевич хотел пройти мимо, но Дёня окликнул, взболтнув в початой бутылке золотые пузыри:

— Старый! Дёрни пивка для рывка! Ну, за Победу, чё ты?!

Максим, туша за спиной окурок, отвернулся.

— Не, ребята! Празднуйте сами, — не чая перекричать динамик, невесело улыбнулся Иван Матвеевич. — А меня лодка на перевозе ждёт...

— Э-э, старый! — блатно цыкнул Дёня и накрутил кнопки на усилителе звука, отчего динамик бесово затрясся и, выдувая пыльный капроновый зёв, мелко поехал по крыльцу.

И снова остро почувалось Ивану Матвеевичу, что он последний межевой столб между добром и злом, светом и тьмой, да только и его уже не замечают, идут с опущенными плугами по живому. Давно ли холёный сынок красноярского губернатора, от жира бесясь, напялил фашистскую форму и так заснял — а его слегка пожарили! Одно радовало, что нищая ребятня из недобитых деревень всё ещё до красных соплей расхлёстывала друг дружке носы, споря, кому быть “нашим”, а кому “немцем воночим”, да бабы, затопляя печи, давили побежавших тараканов со словами: “У-у, морды фашистские!”...

Шёл Иван Матвеевич береговой улицей, а из дворов ревела музыка, топала и гукала, визжала и похабно охала, а то свистела во все пальцы. Береговые улицы всю дорогу самые шумные, но и самые дружные, все гуртом: и похороны, и именины. К весне здесь особо гомозливо и пёстро от людей. Считай, во всём посёлке не осталось больше этой привычки — собираться на лавочке, глядеть на реку и вести разговоры. Вот и в честь Победы люди слетелись под редкими тополями, за дощатые столики, обставленные нехитро, и уже были навеселе, громко кричали, пели, размахивали руками. Под углом трещали костры, пахло шашлыками на ольховых прутьях, а в оставленном пале горела сухая трава, золотые мурашки захлёстывали берег и столбики оград, где их били ногами пьяные мужики.

— Иван Матвеевич! Давайте с нами! — окликали его женщины, а мужики подбегали потрясти его сухую руку.

— Не-е, лодка ждёт! — выгученно отвечал Иван Матвеевич.

— Дак чё лодка! Вон, Чупра попросим, он вас до самого дома отвезёт на “Вихре”!

Можно было, конечно, и подсесть, но выпорхнула из души святая радость. Только и всего, что разжился куревом...

Как что-то неправдошнее, бывшее не с ним, вспоминалось Иван Матвеевичу прежнее время. Отстояв у школы, толкнув, как говорит Петька, речь, брели ветераны неспешным строем до бревенчатого клуба, где проходило основное празднество. Ребятишкам крутили кино — сначала Иван-киномеханик, потом Людмила возилась с бобинами в пристроенной кинобудке. Для ветеранов во дворе, коли было сухо и тепло, ладили столы, покрывали красной скатёркой, выставляли лавки. Сидели под небом единым, локоток к локотку, в сквозной тени черёмухи, притулившейся у забора и дурманно пахнувшей.

Брал слово председатель сельсовета Иннокентий Иванович, сам ветеран: “Дорогие мои бойцы! В той великой войне немногие уцелели...” — и все слушали, затаив дыхание, — мухи, отлепившись от нагретой стены клуба, пролетали в этот миг через двор с высоким жужжанием зеленелых крыл.

“И чтобы зелёная трава, не попрунная сапогами врагов, всегда росла на местах наших боевых подвигов! Чтобы чистое небо стояло над могилами советских воинов — освободителей всего человечества от заразы фашизма! Чтобы ни один вражеский самолёт не мог затмить для наших детей солнца...” — заканчивал председатель, сомкнув, как на чём-то горле, пальцы на гранёном стакане, полным до краёв, и рукой призывал встать и почтить память погибших...

Попив-поев, затевали песни: “Ы-ы как родная миня мать ы-ы провожала!..” Раздухарившись, покидав на траву пиджачки, гремящие наградами, — красные, растрёпанные мужики, гася о подошву кирзух окурки, пускали ноги в пляс, как в майскую волю лошадей:

*Председатель на машине,
Бригадир на лошади!
Бабка старая с мешком
По..ярила пешком!*

За охальниками и бабы, стыдливо подведя губы дочкиными помадами, тарабанили каблуками, выбивая в земле лунки, рая скудную траву.

Ребятишки в эту пору попевали, слетев с забора и клубного крыльца, как стая жадных грачей, хватали со стола щучьи пироги, свиные в белых точках риса котлеты, блины, а кто озорнее, те норовили и отставленную рюмку дёрнуть, закраснев глазами и подбирая рукавом побежавшие от задыха сопли. Их никто не гнал, как в другой бы день, редкая баба всплеснёт на рюмашника рукавом да, выводя кренделя, походя ужжёт крепкой рукой под зад.

Которые участники, конечно, не отходили от рюмок, задирали жён, лезли с соседом в драку и бывали уводимы под руки. Но это редко, в основном с добром проходил праздник. Затяжно, как летний дождь, звенели разговоры и, как летнее же небо, были перемененно светлы и грустны, в озари неугасимой памяти, с бабьими слезьми и мужичьим горьким табаком.

По одному, а то гурьбой разбрелись поздно вечером, пьяненькие, поднимая в оградах лай собак, будя старых отцов и матерей, которые уже не могли ходить своими ногами и, пождав своих с новостями, укладывались ко сну.

Мужики всё не могли расстаться, мышковали по карманам, сбивали мелочь, а бабы караулили их, как шелудивых бычков, гнали в отпёртые ворота. Но они всё равно убегали огородами, гуртовались под угором, кляли войну, рядили о сегодняшнем житье-бытье. “А помнишь? А помнишь?” — повсюду.

И мог бы тогда Иван Матвеевич угадать, что разом всё исчезнет, в глуши, в мёртвой немоте захряснет село, оглохнет в пустозвонстве другой жизни, в которой ни побед, ни сражений стоящих не было и нет?

Вся она теперь, как одно большое поражение, и только он, Иван Матвеевич, снова вышел из боя живым. Все его братики, кто не полёг в своих и чужих землях, уехали на скрипящих бортовухах мимо его окон, уставив к небу застывшие лики, метя дорогу прощальным пихтачом, и уже второй год на Девятое мая возвращался Иван Матвеевич в село один как перст.

VII

Петюня, как и грозился, смылся. “Казанка” шуло торчала на том берегу.

В ожидании перевоза Иван Матвеевич походил вдоль старицы, наполненной шумящей водой. В устье старицы жители валили мусор, который по весне вымывало и уносило рекой. Горы плавучего хлама растащило течением, вдоль обоих бережков торчали горлышки налитых до половины бутылок, чёрно пятнились на склонённых к воде ветвях целлофановые пакеты и даже проплыл, тяжёло ворочаясь, распахнув разбухшие подушки, старый диван. На отлогих пастбищах, откуда скатилась вода и где коровёнки уже общипали летошнюю траву, шершаво ломалось под ногой стекло, сырели учебники с серыми иллюстрациями, валялись ржавые трубы, обожжённые кирпичи и ломаный шифер, железные печки, бочки и облезшие меховые шапки, а в красной от глины изломинке, пробитой ручьём, Иван Матвеевич увидел капроновый завязанный мешок, обсиженный гудящими мухами...

Он задержался возле удачников, всплеснувших синими лесками над омутно-ржавой водой. Весёлые поплавки плясали у кустов, в самом улове. Желторотая братия широко разведёнными глазами глядела на поплавки, скрипела зубёнками и шикала друг на дружку в трепетном ожидании, когда снасть завалит набок и, уцепив червя, потащит леску ко дну подошедшая рыба. Мальчишки из посёлка всегда об эту пору гнали ко рву велосипеды, мотыляя сосновыми удилищами, кончики которых проскребали дорогу и к месту лова бывали стёрты. За вечер, при низовом ветре, когда в гусиных му-

рашках шевелится вода, самый захудалый рыбак туго набивал целлофановый пакет мелким ельцом и красноглазой сорожкой. Но сейчас у каждого в руках красовалась не кривая батожина, а добротная выдвижная удочка, снабжённая пропускными кольцами и катушкой с откидной лапкой, собиравшей леску на противохоме.

— Ну, клюёт, мужики? — сзади присев на карточки, со знанием дела тихо спросил Иван Матвеевич, озирая бережок в поисках кольшпка, к которому был бы привязан садок.

— Так, гашики да пеструхи... — мельком взглянув на него, ответил рыжеватый пацанёнок, пряча в мокрый рукав ветровки дымившийся окурок. — Кошкина радость!

Другие ребятишки, чуть старше его, снабдили Ивана Матвеевича колючим взглядом да перебросили удочки, когда наплыла гнилая доска с ржавыми зубьями гвоздей.

— Чего кошкина? Сам свари в воде, с зелёным лучком, да ещё ичко туда разбей!

— Ну, манать! — воскликнул пацанёнок и обмахнул рукавом шероховатые обветренные нюхалки. — Ещё плеватьса костями!

— А где рукав-то намочил?

— Дак в воде, гашика ловил! Подцепился гашик хило, но я уж почти вышер его на берег, а он возьми да упади! Я брык за ним...

— Поймал?

— Куда он подеётся?! Теперь сидит в каталажке, вечером Мурка его захаваает...

На них зашикали, а бледный высокий паренёк даже проблеснул стёклами очков.

— Значит, нету путней рыбы, одни гольяны? — совсем шёпотом спросил Иван Матвеевич.

— Где ей быть? Она суда и зайти-то не может, дядя Ваня-мент ей сетками дорогу перегородил, так, мелочь всякая лезет... Во-он он ставит сетку, уж которую по счёту! Хотя бы кто из ружья его шаланду резиновую подбил...

От кустов, шагнувших в воду по другую сторону рытвины, короткий крепкий мужик в ярко-зелёной “энцефалитке” поперёк старицы выматывал сеть, сидя в резиновой лодке и плеская коротким веслом, и было слышно, как позванивают железные кольца.

— Как же, самый голодный! — съязвил Иван Матвеевич, вмиг посмурнев. — Сам на выслуженной пенсии, баба при заработке, дети пристроены, а урвать кусок, перекрыть нерестовой рыбе ход, дак он наперёд планеты всей!

— Дак я тебе о чём и толкую! — отозвался смысленный пацан и, поплевав на обожжённой нутряной болью червя, вертевшегося на крючке, громко хлопнул грузилом по воде.

Стервец-перевозчик всё не объявлялся, лежал, наверное, кверху воронкой под кустом.

Зато, надвигаясь от посёлка, до самого ельника облепили едва зазеленевшие полянки машины одна богаче другой. Воскурились костры и громко, наполняя пришлым звуком луг и лес, заиграла музыка, которая никак не отставала в этот день.

“За-а-апа-ахла-а весно-ой-й!” — орал из отпахнутой дверцы джипа мерзкий голос хрипуна, одного из тех, что обыряли кругом, подняли змеиные головы.

— Шерстью твоей палёной запахло, дявольское отродье!

Но что было сделать? Люди уже были навеселе, много ли оставалось добрать, чтобы впасть в бесчинство...

И вот уже на извороте старицы, с высокого отложного берега понужнули из ружья по плававшим в воде бутылкам. Звук выстрела, как закатившая в желоб струя, длинно раскатилась вдоль берегов, пригоршней зерна осыпалась на воду дробь, разлетелось стекло. Из-за поросшего осокой бугра сорвались тяжёлые крикаши и белогрудые гоголя, а чернети, гогоча, нырками ушли на фарватер. Только табунок зазевавшихся чирков низко кружил надо

рвом. У машины засуетились, раз за разом садила в воздух пятизарядка, и одна уточка-таки отшиблась от стаи, кувырком упала на воду...

— У, ес! Молоток, Керя! Держи пять! — заорали возле машины, но за добычей не полезли, а, наоборот, сразу утратили к ней интерес и уселись за вышивку.

Уточка ещё была жива, загребая ольшаного цвета лапками, пристала к этому берегу, окружённая красными пластмассовыми гильзами, медными наковаленками ушедшими в воду. Это была серая чирушка, которой выстрелом выбило глаз.

— Плыви, плыви отсюда! — хлопая в ладоши, привстал Иван Матвеевич, а чирушка выставила на него неповреждённое око и вопросительно потегала. — Ну-ка, давай, спасайся! Кому говорю?

Не больно-то споро, но чирушка устремилась за бугор, продвигаясь бочком, долго кружилась на течении, пока не залезла в непроглядный кочкарник.

— Надо было шею свернуть! — заметил очкарик, который уже набрал с берега камней.

— Ух ты, какой вояка! С бульжником против несчастной чирушки!

— Всё равно не жилец! Сдохнет где-нибудь и будет вонять, заражать окружающую среду!

Иван Матвеевич посмотрел на грамотея, потом на остальных ребятишек. Они оставили удочки и вызрелись на него в ожидании, чем он прищепит язык их умному дружку, который, по всему, ходил в их компании вроде энциклопедии, поучал да хмыкал, обижаясь нелюбви к себе, к своему книжному опыту.

— И с одним глазом живут... — сказал Иван Матвеевич неуверенно. — Я однажды — по весне было дело, на Борисовских озёрах — сослепу подбил серую, дак она у меня в ванне с водой жила на улице, пока не окрепло крыло...

Он осёкса; в самом деле, не говорить же было, что Таисия всю плешь изъела ему, а к дочкиным именинам заставила свернуть уточке шею.

— Видал ты! — разом заговорили ребятишки и тут же сдали дружка: — А он ещё тот раз бурундука палкой огрел, жива-адёр!

— Сами вы живодёры! — оскаблился грамотей и с ожесточением выбросил камни в воду. — Вот вам, а не рыбу, раз все такие добрые! Всё, Димка, больше леску не клянчи, мама и так ругала меня, что отмотал папину японскую!

— Подавись ты своей японской! — вылупив глаза, закричал рыжий пацанёнок, рукав которого обоих и, задравшись, явил бледные голодные жилки на руках. — Я ваче своей “Клинской” ловлю в сто раз баще тебя!

— Придётся ещё, побирушки! — Он собрал удочку и на велосипеде, блестящем спицами новых колёс, укатил в посёлок.

Ко рву попевали другие машины. Высыпали на траву бабы и ребятишки, суетились, громко орокая с соседними гульбищами, весело-пьяные мужики, а от иных кострищ всё чаще сверкали бутылки, разбиваясь у воды с острым звуком лопнувшей пустоты.

— И вы, ребята, садитесь на лисопеды да крутите педали от греха! — распоряжался Иван Матвеевич, сердцем чую беду. — Давайте, сматывайте удочки да гоните вослед этому умнику... Кто он хотя бы? Я что-то его никогда не видал.

— Да-а, новой русички сынок! Вечно всем недоволен... — ответил лопухий мальчишка, и первый оседлал драндулет с подвязанными проволокой крыльями. — Ну, погнали, у школы порыбалим!

VIII

Наступавшие на луг машины были всё больше иностранного пошиба. Обырал на северных рейсах посёлок, перегон леса и горючки выбивал барыш, хоть потом и кровью давались эти деньги. С тоской озирая убогое празднество людей, вороньим разгулом своим застящих свет великой Победы,

слыша похабные песенки, когда бы и помолчать, уставив глаза в горестно прибитую траву, как было не помечтать Ивану Матвеевичу, чтобы на грешную землю тем же мигом повалился крупный град или ударил дождь, налетел бы вызванный силами мёртвых окопников очищающий вихрь, смёл бы страшную вакханалию, отстоял бы эти речушки и деревца в войне с ними человека, от первобытной низости ли, от большого ли ума пошедшего на родную землю напалмом...

— Ах, вы посмотрите, что творят! — от сердца, не умея более держать при себе эту боль, выстонал старый солдат и в другой раз покаялся, что побрезговал школьным автобусом.

Иван Матвеевич ещё помаячил у моста, от которого торчали из воды красивые бортики, а на них сидели вороны. Он даже покричал девчужке, с ведрами спустившейся под угор, чтобы она позвала кого-нибудь из мужиков, но она за звоном дужек не услышала. Собственно, обойти разлив можно, если всё время забирать лесом, только вот ноги бить в обход. Но что ноги? Так, кости, а мясо нарастёт; бывалый солдат завсегда об обувке больше печётся. А вот обувка не та, не походная...

Ельником, дав большого круга от разгульной публички, глядеть на которую особо не хотелось, брёл Иван Матвеевич, отступаясь в глубоком мху, в каждую пору втянувшем сырость. Здесь, в лесу, где остро и чисто пахло водой и багульником, сердце отмякло. Он перебрёл малую протоку и сел на колоду отжать носки, когда со стороны рва, откуда вяло доносило музыку, жахнуло. Дробь прошла по нижним ветвям ёлки, под которой он примостился, а затем со свистом пронеслась уточка и, мёртвая, бухнулась в ернике. Вместе с выстрелом, с гулом его, который не успели рассосать вода и лес, Иван Матвеевич вздрогнул от мысли, которая всю войну наступала на пятки, а в миру отстала: а ну как сейчас же, на этом самом месте под ёлкой горло захлестнёт смертью и жизнь покинет его, как птица старое гнездо?

“О-хо-хо, жись Ивана Горошого, ни шиша хорошего!” — невесело покачал башкой солдат, которого близость края лишь всколыхнула, а вослед этой встряске великое упоенье белым светом сотворилось во всём теле, будто лежал он с кареглазой девкой на молодом сене.

Стыдливо зажмурившись, он пошарил за пазухой и достал синенький блокнотик, который с почётном вручили на митинге. В блокнотик этот заносят всякие важные дела, а затем с оглядом на писаное аккуратно живут целый день, не психуют без повода и не лаются со старухой.

— И для чего тратились? — с уважением и трепетом перебрал сухим пальцем чистые страницы. — Лучше бы курево выделили, как на фронте! А то мне ведь и записывать-то в эту книжечку нечего, последнюю графу мараю...

Блокнотик он всё же бережно убрал подале, решив, что ему эта бухгалтерия ни к чему.

— Отдам Таисии на память, у неё всю дорогу планов, как у партинструктора!

Он поскорю обулся и направился искать переправы через шумящую речку. И в этот миг ударил другой выстрел, и, может быть, дробь прошла как раз по тому месту, которое он покинул...

А день шёл в закат — тёплый, солнечный, с лёгким ветерком, при редких облачках. По упавшему через речку бревну раскорякой, да и то не с первого раза, поспел Иван Матвеевич на тот бережок, на чистый белый песок, на котором не отразились следы людей, и сквозь седой от света ольшаник выбрел со стороны болота. За расступившимся ельником чернели крыши изб, оплетённых нехитрой городьбой, и ярко горело на солнце цинковое покрытие пятистенка участкового милиционера. Шагать по кочкам сделалось несподручно, тряско. Он выискал палку и, прежде чем ступить, шуровал ею впереди, опасаясь завалиться в ледяную сырость, правил серой свалившейся осокой, которая держала сухую лёгкость стариковского тела.

И вдруг снова проклятая музыка! Или послышалось?

Нет, за полоской берёзок сверкнуло лобовое стекло машины. В ней Иван Матвеевич опознал белый “Жигуль”, которого уже видел утром. В последние годы много шпаны наводняло село. Здесь они чувствовали себя вольгот-

но, как на чужой, полонённой и оскверняемой земле. Не таясь, курили анашу, сосали пиво, шатаясь по улицам, били в брошенных избах стёкла, угоняли лодки и пакостили в огородах, а от голубоглазых наркош и вовсе не было отбоя.

“Ладно, пусть люди отдыхают! Сам — права Таисия — покуролесил на веку, — согласился Иван Матвеевич, чувствуя и свою неправоту тоже и душевно желая, чтобы всё шло на паях с природой. — Лишь бы чего не сотворили по недогляду...”

И только он так подумал, как золотой шубой завернулась прошлогодняя трава, затрещала сухая будыла и косой белый парус затрепетал на ветру. Иван Матвеевич встал как вкопанный. Он ещё надеялся, что вот сейчас набегут, затопчут огонь сапогами и зальют из лужи...

Что же, на войне и ему приходилось идти огнём, однако Иван Матвеевич всегда помнил, ради чего пущен смертельный пал, подбирающий, будто летошнюю ветошь, людей. Ну, если тогда не поднимал умом этой тяжкой ноши — больно зряшное дело, стоять по локоток в крови да беречь чистоту сапог! — то, по крайности, чуял зверьи, как легко эту жизнь вобрать в одну ноздрю, а высморкать из другой. Но спасти, вывернуть из огня, распинать головёшки... А к этим, которые сами давно скрылись в скверне, словно в блиндаже, с чем было идти — с поднятыми? с изготовленными ли к драке руками?

С такими мыслями, расшевелив душу, словно осиное гнездо, пасмурный и усталый, направился Иван Матвеевич к бойкой компании, как ни остерегала его Катеринка, вымелькивая ясным солнышком из-за тучки.

Кругом машины уместились на досках, поставленных на кирпичи, три крепких мужика и две молодухи с голыми коленками, явно не жёны. Эта публика сразу не глянулась Ивану Матвеевичу. Что-то, уже и за скотство шагнувшее, было в них, недаром даже в своём бесстыдстве они бежали от других, пристроившись в скрытом месте у болота, где отродясь не водились гулянки, разве вороны по зиме раскопают палую корову и попируют вволю. На газетках, трепавшихся на ветру, было тесно от дорогой жратвы. От неё же сыто выперли неизработанные тела мужиков и острые груди мокрощелок, не знавшие детских губёнок.

— Ты меня любишь?! — пьяно орали в голос пигалицы и, косо глянув на хозяев, являя глазами самочью доступность и вседозволенность в обращении, сами же и отвечали: — Ага-а! А ты со мной будешь? Ага-а-а!

Верно, был ещё пацан лет тринадцати, ешибавший на одного из бритых воротил — такой же мускулистый, с хмурым подлюбным взором и крепкими, наторевшими в драках кулаками. Это он настроил из сухой польни домики и, запалив с головы найденную на помойке куклу, изображал налетевший на село истребитель, громко гудя и капая огненными брызгами пластмассы. Домики вставали дыбком, от жара разворачивалась в смертельной истоме трава, а позади быстро разрасталось чёрное остывающее пятно, будто, надрезав с краю, с самой земли снимали кожу вместе с волосьями. Кукла, раз за разом воспаряя над безвестным селеньем, над русской землёй, чёрно и зловонно пылала в воздухе, застя своим мёртвым копчением отпрянувшее солнце, и руки её, раскинутые в стороны, и вправду походили на крылья.

— Эдюша, не обожгись! — время от времени окликал пацана один из мужиков, который, подогнув ногу под себя, сидел посредке, делая знак, чтоб наливали или пели.

— Я, батя, как мой дед, пало деревни! — держа куклу за ноги, мрачно отзывался Эдик. — Гляди, как они горят! Я сейчас ещё эту... как её? кресты нарисую!

— Кресты, сынок, это фашистская символика! Ну, фишка у них такая была, рисовали везде свастику...

Он вдруг закрал огромной глоткой, надув щёки в красный сарафан:

— Зи хайль, Гитлер! — и первый захихикал всеми жирными мясами.

— Рот фронт! — взлетели вверх руки его корешей, а пигалицы, при молкшие было, невпопад вспомнили из школьной поры и завизжали с восторгом:

— Руси швайн! Руси швайн! Яволь?

— Яволь, яволь! Наливай, не бараголь... — хмукнул чёрный жилистый парень.

До леса, до ярко-зелёной, будто обмытой хвои ёлок оставалось с гулькин нос. От реки, как на пропасть, подул ветерок, понёс горячую пепелицу. Высокая трава вспыхивала снизу и, словно задираемый ветром бабий подол, шумящим куполом взлетала кверху, быстро охватываясь до самой маковки огнём, и, падая, на лету истлевала в серый столбик. Из пылавшей травы поднимались птицы, которые уже сделали выкладки и обихаживали будущих птенцов в безопасности некошеного луга. Они громко щебетали, посылая проклятья на пенно-золотую гриву, тонко-тонко промелькивали в воздухе крыльями, держась на одном месте, но не улетали, лишь воспаряли, когда пламя с нахрапом вздымалось под ними. И вот уже на одной из берёзок, в белой косынке ступившей поперёк огню, завернулась снизу кора и опалились ветки, из которых недавно выклюнулись в коричневой чешуе копытца и едва-едва нагнулись клейкие листики, обвитые первой паутиной.

Огонь, как выученный солдат, бежал короткими перебежками, то затаиваясь, чтобы сориентироваться по местности и перевести дух, а то срываясь бешеным валом. Вспыхнули охотничьи скрадки из соломы, заалели тонкими позвонками и обвалились жердочки, а Иван Матвеевич живо вспомнил, что в Белоруссии так же горели скирды свежубранной пшеницы. Только лишая обывавших озёр, уже подёрнувшиеся нежной травой, оставались нетронутыми, и на молодой грязи сидели разноцветные бабочки. Их Иван Матвеевич увидел очень хорошо, и душным пеплом обдуло его лицо, когда, как в прежние времена, он вылетел на передовую.

— Что же вы это утворяете, а?! — с ходу хрипло закричал Иван Матвеевич, а сердце бух-бух в груди. — Что, других игр не нашли?!

На лужайке замерли с пластиковыми стаканчиками в руках, примолкли пигалицы. Один пацан ничего не слышал, ибо заткнулся от мира наушниками, чёрные проводки от которых тянулись в карман светлых джинсов, где бугристо выпер под напором сильной ляжки мобильный телефон.

— Ты чё, батя, орёшь? Чем недоволен? — первым поднял голос дёрганный мужичок, голый до пояса, и обколотые синеваой жилы рук с появлением чужака напряглись. На дощатой груди прокажённого сикось-накось светилась надпись: “Тюрьма не школа, прокурор не учитель!” Он приставил к уху ладонь воронкой: — А-а, не слышу?!

— Вы же так лес сожжёте! Смотрите, сушь какая! Понесёт ветром огонь, дак уже ничем... Вон он, ельник-то, а в нём сухие мхи!

— А ты чё, лесником тутошним промышляешь?

— Нет, я не лесник, слава Богу, а то я бы с вами не так разговаривал!

— Бугор, чё он гонит?! Ты откуда взялся-то, балаболка?

— Кто — мы подожжём?! Да упаси бог! Ну, балуетса малый, с кем не бывает... — отец Эдика — Бугор — пожал плечами, ласково глядя на Ивана Матвеевича. — Присядь лучше, отец, выпей с нами за праздник, не откажи!

— Противно мне пить с вами, алкашами! — не удержался Иван Матвеевич.

— Э, дед, за базаром следи! Где алкашей видишь?! — напрягся чёрный от раннего загара парень, весь в кубиках жёстких мускул. Он всё это время молчал, сцеживая себе под ноги через забранную в рот соломинку жёлтую слюну, и очень был увлечён этим.

— Мальчики, только не ругайтесь! — закуривая тонким бледным ртом, вздохнула светловолосая девчонка лет семнадцати.

Другая, полненькая, у которой сбилась на голое плечо тесёмка лифчика, отогнув мизинец, заграбастала пивную бутылку и, запрокинув коротко стриженную чёрную головку, припала к блестящему горлышку податливым красным ртом.

— Дай, Верка, сигарету — я засохла без миньету! — отпив, попросила она свою спарщицу по стыдному занятию, а уловив на себе укорный взгляд Ивана Матвеевича, вся скорёжилась мордашкой, как береста на огне. — Ну чё, дед, zenки пялишь? Я за просмотр ваще-то баксы беру!

Покатилась со смеху, отхаркнув косточки помидоров.

— Не ополоилась? — с улыбкой спросил Иван Матвеевич.

— Чё?!

— Я говорю, мол, не напрудила в штаны, от смеха-то?

— Ты — старый пень собакам срать! В натуре, чё пургу несёшь? — она поглядела кругом и смыслено шмыгнула носом. — Он чё, так и будет меня оскорблять? А-а, крокодил Гена? Я тогда щас соберусь и уйду!

— Да не, Надюха, зачем? — сказал чёрный парень, Гена. — Батя рамсы попутал, не на тех, короче, бочку покатил... Слышь, старик, гребни отсюда!

Всё разом, что болело в нём весь этот долгий день, взялось в Иване Матвеевиче от единого слова, будто в самую душу его, смётанную из сушья, сунули горящую спичку, и он, не сдерживаясь более, зажмурился и с яростью своей правоты пинком расшиб застолье.

— Вот вам, сволочи, вот! — для пущего страха провернул ботинком по хлопнувшим пластиковым стаканам. — Пожрали?! Выкусили?!

Расхристанной водкой окатило лицо Бугра, который даже не шелохнулся, задумчиво шурясь на дым длинной коричневой сигареты, от которой душисто пахло. Зато в злую стрелку ушли узкие губы прокажённого. Чернявый опередил его, быстро поднялся с земли — и в движение его было много силы и злости. “С таким в атаке хорошо”, — невольно заглядевшись молодым человеком, подумал Иван Матвеевич.

— Зря, старик! — рывком забрав грудки Ивана Матвеевича в кулаки, чернявый присвистнул: за посыпавшимися пуговицами из-под куртки блеснуло. — О, бля! Да ты воин-победитель! Чё ж ты молчал? Дай-ка хошь одну медаль погарцевать!

— Не трожь! — тихо попросил Иван Матвеевич.

— Вот эту возьму, — не слушая, сказал Гена и протянул руку к ордену Красной Звезды. — У тебя их всё одно две!

Но Иван Матвеевич был начеку и, дивясь, что не забыты навыки, выбросил вперёд левую руку, пересекнув встречное движение к наградам, а правой не так сильно, как хотел бы, шлёпнул в лицо. Он уже не владел собой и только знал, что нужно остановить огонь. Однако прежде требовалось как-то вразумить этих людей, которые отпрянули от него и выжидали друг от друга, кто же первый бросится ему на горло. И первым, обмахнув запылью красным нос, шнул в живот крокодил Гена, а за ним прокажённый поддал локтем...

— Гена, ты что?! Ну, Бугор, что они делают?! Я бою-юсь! — закричала светловолосая Верка.

Её с силой зашпилили в машину, где уже сидела Надюха и, выученный в подобных вылазках, освоился за рулём Эдик, глядел в зеркальце и давил на лице прыщи.

— Не на-адо, ну не на-адо! Он же совсем старик, как вам не жа-алко-о!

— Сиди, дура, здесь, и не рыпайся!

Обожженная, курившаяся земля быстро повалилась на Ивана Матвеевича, а в затылок больно ударился кирпич: не то сам, падая, свернул сидище, не то в горячке перепало из чьей-то руки. Кто-то, смрадно дыша, надвинулся на него и заглянул в лицо, шаря по груди.

— Жив я, жив, ребятки! — едва слышно вынес из себя Иван Матвеевич. — Ничего, я сам вино...

О, да не сердце его искали, чтобы проверить, бьётся оно или нет, а паршивые железки срывали с пиджака! И большее, чем от удара, сделалось, единой опухолью взялось тело. Наперев в рёбра, ища из потоптанного нутра выход, брызнула из носу кровь и потекла по шее, за уши, а он всё оттягивал белый воротничок, чтоб его не запачкало.

— Нет у меня Героя, не ищите! — резко видя сжатый рот человека и жёлтые, с чёрными жгучими перцами посередке глаза, сказал Иван Матвеевич. — Не золотые они! Простые, как у всех...

— Тиши, отец, тише! Извиняй, нечаянно получилось...

— Ну, долго ты? Чего ты? Давай сюда! — закричали словно с другого берега; зарычала и, стрельнув, упорхнула машина...

Забываясь, он слышал, как шаяла и трещала трава, будто сам он, каюсь во грехе, в том, что не дал высокого боя, рвал на голове седые волосы. То ударил сильный синий дождь, похоронными пятаками стуча в грудь Ивана Матвеевича, бережной рукой смахивая с пиджака пыль сапог.

“Тася, прости!” — почему-то высверкнуло в памяти, и Иван Матвеевич всей кожей почувствовал вековой холод земли.

Завалиясь на бок, оскребая пуговицы на горловине хрястнувшей вдоль спины рубашки, Иван Матвеевич к вечеру, кажется, успокоился. Но краем остывающего сознания он всё ещё видел низкое мутное небо и осиротелых птиц, которые носились с рыданиями над выжженными гнёздами, над лопнувшими в огне яйцами, над осквернённой и потоптанной Родиной-муравой...

* * *

Наткнулись на Ивана Матвеевича после праздника, в кочкарнике возле воды. Там ещё лежал голубой лёд, на который прибегали из села собаки — кататься и очёсывать шерсть.

Его боевые заслуги, мёртво блестя в мокрой траве, валялись среди пивных пробок, а в воздухе над этим гиблым местом кружили серые чайки. Они вымелькивали в ненастной зге, плескали крыльями, будто клали белые кресты над павшим воином, сходились в небе и сверху, с укором взирая на стыдливо зазеленевшую после дождя землю, кричали и плакали навзрыд.

Приехавший из города молоденький, похожий на необдутый одуванчик следователь, щелкнув серебристым замком портфеля, восторженно огляделся и сказал, что он только по телевизору видел таких больших чаек.